
П. Вайль, А. Генис

Вместо «Онегина». Пушкин

Бросается в глаза неуверенность всех писавших о «Евгении Онегине».

Критики и литературоведы как бы заранее сознают порочность замысла и ничтожность шансов на успех. Даже смелый и независимый Белинский оговаривался с первой же строки: «Признаемся: не без некоторой робости приступаем мы к критическому рассмотрению такой поэмы, как «Евгений Онегин». Тексты Чернышевского, Добролюбова, Достоевского, позднейших исследователей пестрят неопределенностями, оговорками, вводными словами вроде «кажется».

Так с опаской пробует воду ранний купальщик, но уже прыгнув, с силой гонит волну, поднимая шум и брызги. Так поступил Писарев, вложивший в разбор «Евгения Онегина» необычную для русской словесности лихость. Пушкинский герой назван не только «Митрофанушкой», но и на современный фельетонный манер «нравственным эмбрионом» и «вредным идиотом». В пылу обличения Писарев поднялся даже до истинного комизма, утверждая, что «Онегин скучает, как толстая купчиха, которая выпила три самовара и жалеет о том, что не может выпить их тридцать три».

Это размашистое и безоглядное поношение — ничто иное, как реакция на долгое топтание у берега. Брызгая и шумя, Писарев заглушает негромкий, но внятный голос сомнения. Для него ясна трактовка идей и образов, но — как и все! — он не знает, что делать со стихами, которыми написан роман. Как и все, он чувствует ускользающую плоть текста, для которой слишком крупна социальная ячея. Да, впрочем, крупна и любая другая. «Пушкин постоянно употребляет такие эластичные слова, которые сами по себе не имеют никакого определенного смысла...» Это жалоба храбреца Писарева на собственное бессилие. Потому он обсуждал не столько «Евгения Онегина», сколько мнение Белинского о романе. Теперь можно обсуждать мнение Писарева. И так далее.

Но как же все-таки быть с пушкинским текстом? Оценки, разнесенные полутора веками, удивительно совпадают. И если «Московский телеграф» в 1820 году называет роман «опытом поэтического изображения общественных причуд», то именно за это извиняется современный пушкинист: «Кажется, что автор ничего не хотел доказать, никакой ясной, конкретной идеи в свой роман вкладывал». Разница в том, что комментаторы пушкинской эпохи не были связаны авторитетом всенародного гения, а сегодняшней исследователь находится в зависимости от поэта и его неземной славы. Но в искренних, ненасильственных абзацах неизбежно прорывается все та же полутораветковая растерянность: о чем же всё это? Зачем?

Непонятость Пушкина — точнее: принципиальная невозможность до конца понять — перемножена на десятилетия более или менее бесплодных попыток. Этот беспрецедентный в русской словесности феномен привел к тому, что прочесть «Евгения Онегина» в наше время — невозможно.

В недавние годы были проведены, правда, два успешных опыта чтения — использующих противоположные методы. Первый — максимальное погружение «Онегина» в контекст истории, литературы, социальной психологии. Второй — незамутненное, абсолютно непредвзятое чтение. Для одного опыта понадобилась неисчерпаемая эрудиция Юрия Лотмана («Комментарий к «Евгению Онегину»»), для другого — конквистадорский талант Андрея Синявского («Прогулки с Пушкиным»).

Для остальных существует третий, самый распространенный и практически единственный путь — чтение без текста. Стоит перечитать «Евгения Онегина», чтобы убедиться: внимание сосредоточивается на нескольких поразивших новизной строчках, не замеченных ранее или забытых — трогательных или смешных. Сам же роман ничуть

не меняется, как не меняется привычная картина, если стереть с нее пыль: только и выяснится, что дерево в левом углу — береза. Вся психологическая и литературная игра, доверху наполняющая «Онегина», ускользает от взгляда и слуха, засоренных сотнями толкований. Дело даже не в школьной трактовке. Пушкин вообще, и «Евгений Онегин» в частности, шире хрестоматии и учебника — это часть жизни, о которой каждый имеет не конкретное, но свое представление. (Так каждый разбирается в медицине, футболе или воспитании детей.) И даже тот, кто «Онегина» не читал, воспримет пересказ содержания романа как оскорбление.

Вся классическая литература поступает к читателю в готовой упаковке. Но онегинский «хрестоматийный глянец» — особого рода. Будто попечением какого-то благотворительного пушкинского общества выпущены разные хрестоматии по числу читателей, с учетом индивидуальности каждого, и для каждого — свой глянец. Все мы живем со своим личным «Евгением Онегиным» — вполне интимно. У нас с ним свои счета — как с женой. Это происходит оттого, что читатель общается не с романом, а с неким мета-текстом — чем-то большим и вязким, что пролегает между романом в стихах, написанным Александром Сергеевичем Пушкиным, и читательскими усилиями. На этой дистанции «Онегин» успевает измениться и подладиться к восприятию. Все известно про этот роман, и на самом деле читать его совершенно не обязательно: и без того он с нами в виде бесчисленных словесных, образных, идейных цитат. Русский человек с малолетства знает, что чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. У нас у всех дядя честных правил, даже если дяди нет.

Однако при всей сугубой индивидуальности подхода к феномену «Онегина», существует все же единый схематичный его образ. Опять-таки — как с женой.

Нет и не может быть определенных рекомендаций, но приблизительно известен образ идеальной жены: хранит верность, вкусно готовит, не ругается. Так же имеется обобщенный образ великого романа.

«Евгений Онегин» — это красивые люди, красивые чувства, красивая жизнь. Подобно тому, как Татьяна «влюблялася в обманы и Ричардсона и Руссо», Россия была покорена обманом Пушкина.

Кровь и горе разливаются по сюжету «Онегина», а мы ничего не замечаем. Поруганные чувства, разбитые сердца, замужество без любви, безвременная смерть. Это — полноценная трагедия. Но ничего, кроме блаженной улыбки, не появляется при первых же звуках мажорной онегинской строфы.

Конечно, ответственность за это несет и одноименная опера. Поколения русских людей обмирают от жалости и печали, когда тенор выводит за Ленского: «Куда, куда вы удалились, весны моей златые дни?» Высокие, недоступные простым смертным эмоции льются усилиями двух гениальных обманщиков — Пушкина и Чайковского — и нет ни сил, ни охоты подметить черный юмор поэта, заставившего героя произносить перед смертью пародийный набор штампов.

В оперное, праздничное настроение стихов не вписывается ничто низменное, и далеко не с первого прочтения попадают на глаза такие строки:

...К старой тетке,
Четвертый год больной в чахотке,
Они приехали теперь.
Им настужь отворяет дверь,
В очках, в изорванном камзоле,
С чулком в руке, седой калмык.

Эти строки и не надо помнить, потому что они не из Пушкина, а из Гоголя, например, или разночинцев. В «Евгении Онегине» нет и не может быть чахотки, чулок, нацменьшинств. А есть вот это: «Шум, хохот, беготня, поклоны, галоп, мазурка, вальс...». Список продлевается по желанию.

У российского человека обычно вызывают праведное раздражение зарубежные интерпретаторы русской классики. Но в чем-то существенном они правы. Лишенные рабского преклонения перед текстом, они не стесняются следовать не букве, даже не духу, а — образу, ощущению, метатексту. Пьер Безухов привязывает квартального к медведю. Долохов прогибается и не падает с карниза с бутылкой рома. А что же Онегин?

Он поздно просыпается, серебрится морозной пылью и в чем-то широком (боли-варе?) мечет пробку в потолок.

Джентльменский набор царит в пушкинском романе. Все тут диковинное, богатое, заграничное: кларет, брегет, двойной лорнет. Не простой, одинарный лорнет, как у всех, а двойной. Нарядная экзотическая выпивка и еда, разговор о сравнительных достоинствах аи и бордо — как у Ремарка с Хемингуэем. Аи — любовница, бордо — друг, ром — молоко солдата. Повсюду ножки. Даже бесплотный Ленский выказывает понимание: «Ах, милый, как похорошели у Ольги плечи, что за грудь!»

Обаянию изящной жизни поддавались и разночинские критики. Белинский, известный тем, что опрокинул красное вино на белые штаны Жуковского, даже чрезмерно уважительно относился к воспитанному сословию: «К особенностям людей светского общества принадлежит отсутствие лицемерства...» Непримирымый Писарев неохотно говорил о том, что грязь жизни у Пушкина незаметна, о веселье и легкости, о картинах романа, нарисованных «светлыми красками». Эта светлость такова, что даже пушкинские обличения воспринимаются как похвала:

Среди лукавых, малодушных
Шальных, балованных детей,
Злодеев и смешных и скучных,
Тупых, привязчивых судей,
Среди кокеток богомольных,
Среди холопов добровольных,
Среди вседневных, модных сцен,
Учтивых, ласковых измен...

Красота стиха завораживает, все вызывает восторг и умиление: и «кокетки богомольные», и «измены ласковые» — все хорошо!

По строфам «Онегина» разносится, по замечательному выражению Надеждина, «разгульное одушевление веселого самодовольствия». В том и заключалось невольное пушкинское лицемерство, что он — как опытный лакировщик действительности — вывел только праздничную сторону жизни. Но именно — невольное. В романе, приглядеться, происходит все, чем славна русская словесность: бьют служанок, сдают в солдаты крестьян, царит крепостное право. Но приглядываться нет никакой возможности — все внимание занято стихами. Точнее — тем впечатлением, которое они оставляют.

Из самих стихов, если читать их пристально и буквально, можно извлечь решительно все: на то и большая форма, «энциклопедия». Так, Достоевский легко доказал, что «Онегин» — произведение славянофильское, почвенница Татьяна противостоит западнику Евгению. Эта талантливая спекуляция не вошла в читательский «образ» романа, в его метатекст — как слишком серьезная и основательная, а потому выпадающая из стиля «Онегина». Зато другая выдумка Достоевского — вошла: он впервые назвал мужа Татьяны стариком. Старик и остался, как ни бьются комментаторы, доказывая, что муж и Онегин — почти ровесники. Это естественно: для картины общей красоты необходима антитеза молодого влюбленного и старого мужа — такова традиция. Ведь убитая жестокосердием Татьяна вышла с отчаяния за кого попало, а в чем же жертва — выйти за богатого, знатного, да еще и молодого? «Онегинский» метатекст произвел необходимый отбор, презрев и распределение красоты между сестрами, задуманное Пушкиным. В тексте прямо говорится о необыкновенной прелести Ольги, а про Татьяну дважды — в начале и в конце — сказано: «Ни красотой сестры своей... не привлекла б она очей» и «Никто б не мог ее прекрасной назвать». Но вопреки воле автора, у читателя нет сомнения в том, что Татьяна — томная красавица, а Ольга — здоровая румяная дура.

Снова законы красивой жизни оказываются сильнее авторского намерения: несправедливо, чтобы лучшая из героинь мелькнула и упорхнула с безымянным уланом, а читателю восемь глав коротать с худшей.

Российские критики — и читатели вслед за ними — рассуждают о том, что чистой и умной Татьяны недостойн испорченный и пустой Евгений, который книжек не пишет, а читает — не те. Как мог он отвергнуть ее, будучи явно хуже? Но ведь как раз Татьяну Евгений вполне устраивал: «Я знаю, ты мне послан Богом, до гроба ты хранитель мой...». Та же история произошла у Пушкина и в личной жизни: только тут он оказался Татьяной, а Евгением — Наталья Николаевна. Правда литературы и правда истории не значат ничего: вина Евгения перед Татьяной и Натальи Николаевны перед Пушкиным в читательском сознании — неоспорима.

Персонажи — и книг, и жизни — судятся не по законам справедливости, а по законам красоты сюжета. Сюжет «Евгения Онегина» принадлежит не Пушкину, а русскому читателю. Массовому сознанию, метатексту, обобщенному образу. Пушкину принадлежат — стихи.

Стихи, подобных которым не было, нет и не может быть в русской поэзии — как нельзя достичь скорости света. Гармония пушкинского текста способна сама по себе, одним своим стройным звучанием создать самостоятельный мир, который мы и воспринимаем — вне зависимости от того, какой смысл имеют слова в этом тексте. Окуты-вающее роман стиховое поле столь же осязаемо и реально, как текст первоначальный, авторский, написанный материальным пером на материальной бумаге. Это и есть чтение без текста.

«Евгений Онегин» более не доступен для непосредственного прочтения. Вместо романа у нас есть его аура — бесплотная и бесконечная субстанция, неиссякаемый образ совершенства и красоты.

В конце 5-й главы романа Пушкин спохватывается:

Пора мне сделаться умней,
В делах и в слоге поправляться
И эту пятую тетрадь
От отступлений очищать.

Это былое веселье: с ананасом золотым, страстью нежной, толпой нимф, щетками тридцати родов, кавалергарда шпорами, ножкой Терпсихоры, огнем неожиданных эпиграмм.

Это та жизнь, которая должна быть, но нету.

Слава Богу, это осталось лишь угрозой (или кокетством). Убрать необязательную болтовню, избыточные описания, отступления о ножках и бордо — останется трагедия о разбитых и простреленных сердцах. А «Евгений Онегин» — совсем не то.

Это крепкая бодрость: зима, крестьянин, торжествуя.

Это романтическая любовь: свеча, слезы, гусиное перо.